



Он умер скоропостижно. В мрачной  
боязни ждали мы... Но отпускные, на-  
писанные нам, затерялись. А может, их  
и вовсе не было. Новость эта оглушила  
нас. Пока мы еще плакали да думали, что  
делать, нас продали с публичного торга...

*А. Герцен. «Сорока-воровка»*

Но лозы рук, хрустальные, крепки —  
Любовь их вьет и страх неизреченный  
Вкруг бедного ствола, что на куски  
Топор изрубит, ревностью точенный<sup>1</sup>.

*Луис де Гонгора.  
«Поэма о Полифеме и Галатее»*

---

<sup>1</sup> Перевод Павла Грушко, 1966 г.



## Глава 1

### МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

*30 декабря 1860 г. Москва*

В домашнем театре особняка Скалиных старая крепостная труппа разыгрывала постановку «Полифем и Галатея». Для зрителей в зале расставили стулья, на рампе укрепили толстые восковые свечи, и в их теплом свете алый бархат кулис и полинявшие от времени краски декораций не оскорбляли взыскательного взора гостей. А вот с актерами и актрисами дело обстояло гораздо хуже.

Театральная труппа досталась богатой московской барыне Меланье Андреевне Скалиной в наследство от ее покойного мужа. Он скончался в возрасте восьмидесяти лет и всю свою сознательную жизнь, как и отец его, слыл заядлым любителем домашних представлений. Актеры и актрисы же постепенно перекочевывали из возраста пожилого в возраст старческой дряхлости.

Они толпились на сцене, изображая юных нимф и пылких сатиров, украдкой кашляя, неловко при-танцовывая. С потными напудренными лицами, густо нарумяненные, с подведенными глазами и бровями, в пыльных париках, актеры выглядели словно кучка привидений из прошлого. Когда-то яркие хитоны и туники открывали взору зрителей изуродованные подагрой ноги нимф. А когда нимфы поднимали дряблые руки вверх, славя свою предводительницу Галатею, то становились видны темные впадины подмышек, заросшие седыми волосами, давно уже не знавшими квасцов.

*Но лозы рук, хрустальные, крепки — любовь их вьет  
и страх неизреченный...*

Пожилая актриса в обсыпанном золотистой пудрой кудлатом парике декламировала это надтреснутым фальцетом. Актер, изображавший циклопа Полифема, грозно рычал, представляя муки неразделенной любви к красавице-нимфе, и при этом украдкой цеплялся за задник, изображавший пасторальный пейзаж, так как его поставили на ходули и обмотали волчьими шкурами, чтобы добавить влюбленному циклопу роста и устрашающего вида.

— Такие зрелища были в моде лет сорок назад, — шепнул барон Модест Корф сидевшему рядом с ним молодому помещику Клавдию Мамонтову. — А потом ваш батюшка написал «Руслана и Людмилу», и мы все словно прозрели.

Вторая часть фразы была уже адресована к расположившемуся с другой стороны от Мамонтова Александру Пушкину, сыну поэта, статному, высокому, широкоплечему, в мундире лейб-гвардии Конного полка. Тот вежливо улыбнулся. А барон Корф, как и все, кто встречал Александра Пушкина-младшего, пытался понять, бросая украдкой острые взоры, — как сильно похож он на отца... или на красавицу мать? Серо-голубые глаза, высокие острые скулы, в чертах лица твердость и горделивая уверенность.

Барон Модест Корф приходился дальним родственником барыне Меланье Скалинской, урожденной Смирновой. И занимал должность директора Императорской публичной библиотеки. Он любил поговорить о том и о сем — не только о редких изданиях.

— Испанская поэма семнадцатого века, а они ее здесь в театре перевели на французский. Декламируют, конечно, ужасно. Не хватало только, чтобы кто-то

от натуги на наших глазах испустил дух. Это, наверное, последний крепостной театр... Остальные все уже приказали долго жить. Я сидел на их репетиции перед представлением, листал оригинал поэмы. Невольно слышал, о чем они говорили, — так вот все разговоры этих актеров были исключительно насчет воли.

— Насчет воли? Освобождения от рабства? — живо откликнулся помещик Мамонтов.

— Насчет того, что за напасть такая грядет — воля, — барон Корф усмехнулся. — Слухи, слухи витают, множатся, что через месяц-два выйдет царский указ. Официально уже объявят то, о чем столько говорят весь последний год. Свобода, свобода... Так эти актеры просто в ужасе неопишущем.

— В ужасе? — переспросил шепотом Клавдий Мамонтов. — Они же крепостные, а станут свободными людьми!

— А они от этого в ужасе, мой друг. Нюют, шепчутся — что с нами будет, куда мы пойдём на старости лет, раз крепостной театр исчезнет.

— Но они актеры, многие из них знают по два-три языка, учились мастерству в Италии и Франции, умеют играть на разных инструментах, декламируют, сведущи в литературе, поэзии. Это же не какая-то темная челядь, это хорошо образованные люди!

— И тем не менее свобода их страшит. Воля — беда новая, неминуемая — это я сам слышал здесь от них. Ну, может, конечно, возраст их преклонный... Но дело не только в возрасте. Они привыкли к своей жизни.

— Нельзя привыкнуть к рабству. Противостоит это.

— Это вы им скажите, дорогой мой друг. Такое впечатление, что свобода нашему богоспасаемому народу не очень-то и нужна. Холопство как привычка,

как образ жизни, как состояние ума, души. Я тут слышал в Дворянском комитете, мол, крепостничество — это не что иное, как духовные связи, завещанные нам еще от пращуров. Духовные связи нашей святой Руси. Не только лапти предки наши плели, лыко драли, пеньку сучили, но и скрепы вот такие ковали. Клавдий, душа моя, здесь их кормят досыта, по крайней мере. Меланья не скупится — им и кашу дают, и эти, как их... пироги с трбухой. А по праздникам и чарку поднесут. И сечь их давно уже перестали. Раньше-то, конечно, при ее муже пороли на конюшне. Но вот уж сколько лет как не порют. Милуют. А что еще им надо?

— Вы что-то уж говорите совсем какие-то вещи мрачные и унижительные для человеческого состояния, — сухо бросил Клавдий Мамонтов. — Саша, а что ты на это скажешь?

Но Александр Пушкин-младший промолчал, он смотрел в этот миг на сцену.

Циклоп Полифем в любовных муках совсем отвернулся от зрителей, пряча изуродованное гримом лицо свое. А у самой рампы на сцене появились два новых персонажа пьесы — Вакх и Помона.

В отличие от стариков актеров, эти были молоды: Вакх-Дионис белокурый и стройный как тополь, в венке из винограда со шкурой рыси, свисающей с плеча, и с увитым плющом тирсом в руке. Прекрасный голубоглазый бог — высокий, сильный. В роли Помоны выступала Аликс — двоюродная кузина Меланьи Скалинской. Клавдий Мамонтов сразу ее узнал. Она была дружна с женой Пушкина-младшего Софьей. Они в начале вечера и сидели вместе в зале, о чем-то мило шептались — жена Пушкина, снова беременная, усталая, поблекшая, и эта Аликс — девушка двадцати

шести лет, так до сих пор и не нашедшая себе жениха на московских балах.

Прекрасными у Аликс были волосы — темно-каштановые, густые и блестящие, украшенные сейчас свежими цветами. В остальном же она красотой не блистала — невысокая, худая, даже слегка костлявая, вся какая-то неловкая и угловатая, с мелкими невзрачными чертами лица, лишенного здорового румянца.

Но глаза ее, устремленные на красавца Вакха, сияли как звезды.

*Сицилия — Рог Вакха, сад Помоны щедр на все, что прячет и родит:*

*Тот множит пышные гроздей короны, а та румяные дары плодит...*

Ее голос — теплый, звучный — заставил гостей очнуться от навеянной постановкой дремоты.

*Цереры воз здесь летним цепом склоны пшеничные от веку не щадит...*

Это глубоким баритоном продекламировал бог Вакх, взмахивая тирсом. А Клавдий Мамонтов подумал — сроду бы не запомнил такой стих наизусть, ну и память у этого Вакха.

Испанская поэма, переведенная на французский и представленная на суд московской избранной публики, производила странное, причудливое впечатление. Словно те тени, что плясали на театральном заднике, когда сквозняк колыхал в зале пламя многочисленных свечей. Но что поделаешь — вот уж сколько лет со времен Крымской войны иностранные драматические и оперные труппы игнорировали и Петербург, и Москву, вычеркивая их из списка своих гастролей. Не было ни итальянской оперы, ни актрис из Комеди Франсез, ни французского балета. Как-то обходились своим, доморощенным. Созерцали представление последнего крепостного театра.



Но вот и представление закончилось. Все в этой жизни когда-нибудь да приходит к своему концу.

Алый бархатный занавес закрылся.

— Меланья, очаровательно, просто прэлэээссстно, — барон Модест Корф первым выразил свое восхищение владелице крепостной труппы. — Такая редкость эта испанская поэма. Где вы ее откопали?

— В архиве мужа.

Меланье Скалинской исполнилось тридцать четыре года. Она была яркая брюнетка с темными глазами, пышной фигурой и безупречным овалом лица, правда, в чертах ее проступала некая монументальность, тяжеловесность. Но все это искупали атласная кожа и губы, подобные спелым вишням. Вдовство пошло ей явно на пользу. Она словно расцвела.

— А мне показалось, вы все благополучно уснули, — усмехнулась она. — Нам с Софи так представилось. Сонное царство.

Она лукаво улыбнулась беременной жене Александра Пушкина-младшего.

— Нет, помилуйте, как можно, — барон Корф всплеснул руками. — Софи, так вы едете в Бронницкий уезд вместе с мужем?

— Мы еще не решили, — пожала плечами Софи, — как все сложится. Конечно, я бы хотела, чтобы мы на этот раз не расставались.

— Ну, он же не в полк возвращается, — заметил барон. — Он уже, считайте, в отставке. Поступит на гражданскую службу — там дела промедления не терпят.

— Он будет скучать по армии, я его знаю, — ответила Софья Пушкина. — А я даже и не знаю, радоваться таким переменам или нет.

— Господа, это еще не все, — Меланья Скалинская захлопала в ладоши и подхватила юбки своего черного

атласного платья с кринолином и глубоким декольте. — Наш театрально-музыкальный вечер в самом разгаре. И я предлагаю на ваш суд не стихи, не декламацию, а чудесную музыку. Шуберт. Его трио, которое столь популярно сейчас... опус сотый.

Скалинская очень любила музыку и сама была прекрасной музыкантшей. Вот она махнула рукой, лакеи в ливреях внесли пюпитры с нотами, стулья, виолончель и скрипку в футлярах и разместили все это рядом с роялем, стоявшим в другом конце театрального зала. Меланья подошла к роялю и достала из футляра виолончель.

Рядом с ней как пришитый держался поручик Гордей Дроздовский. Клавдий Мамонтов заметил, что и во время представления он не сидел как все гости, а стоял у стула Меланьи и то и дело наклонялся к ней, сгибая стан свой, затянутый в офицерский мундир, чтобы что-то сказать ей на ухо. Левая рука его покоилась на перемычке. Со слов Александра Пушкина-младшего, Мамонтов знал, что Гордей Дроздовский храбрый офицер, прекрасно показавший себя во время последней кампании, где о его отваге и беспощадности ходили легенды. Клавдий Мамонтов заметил и кое-что еще — Дроздовский просто пожирал Меланью Скалинскую взглядом. Учитывая его репутацию, можно было нарисовать его портрет в облике такого удалого усача-гусара, которому сам черт не брат. Но Дроздовский был невысок, чуть ли не тщедушен. Несмотря на молодой возраст, волосы его поредели, появились залысины. Нос с горбинкой на худом лице украшало золотое пенсне.

Мамонтов про себя подумал, что храбрый офицер с внешностью домашнего репетитора ничего не добьется с блистательной Меланьей Скалинской. Хотя как знать? Вдовы, вдовы, что у вас на уме, что на сердце?

— Аликс, иди сюда, — Меланья царским жестом подозвала к роялю свою родственницу. — Скрипка — это тебе. Сыграем Шуберта.

— Хорошо, как скажете, — кивнула Аликс.

— Я бы хотела, чтобы мсье Дроздовский сел за рояль. Но он повредил руку на скачках, — Меланья глянула на перевязь Дроздовского. — Поэтому в аккомпаниаторы нам с Аликс придется взять...

Она оглядела зал поверх гостей и сделала такой повелительный нетерпеливый жест рукой, словно поманила охотничьего пса.

Из-за спины ливрейных лакеев возник молодой человек. Лицо его еще сохранило следы театрального грима. Мамонтов узнал в нем того самого актера, который играл Вакха в пьесе.

Однако сейчас он уже успел скинуть с себя и венки, и шкуру рыси, надел ливрею. И даже в этом своем рабском одеянии он поражал взор красотой и статью.

Молодой человек вежливо поклонился гостям, сел за рояль. Взял ноту — и Аликс тронула смычком скрипичные струны, настраивая скрипку.

— Как же, повредил руку на скачках, — язвительно шепнул барон Корф, — у него там пуля в руке. Он дрался на дуэли. Из-за нее. Скалинской. Не спрашивайте с кем. Это очень знатная особа, приближенная ко двору. Дроздовского едва не разжаловали. Только боевые заслуги и уберегли. Но его удаляют из столицы и из Москвы, переводят куда-то в глушь. В какой-то полк пехотный.

— А молодой красавец за роялем — это ее крепостной актер? — спросил Александр Пушкин-младший.

— Он ее дворовый человек, — ответил Корф. — Хлоп. Что-то вроде лакея. Но видите, на все руки мастер. И декламирует на сцене, и, я слышал, хорошо говорит по-французски и музицирует.

Меланья настроила виолончель. И кивнула — начали!

Франц Шуберт.

Клавдий Мамонтов замер.

Как они играли это трио! Как они играли все втроем — слаженно и вдохновенно. Густая как мед мелодия, где столько силы и огня, страсти, но совсем нет нежности... никакой сентиментальности.

Но вот скрипка вступает, и все мгновенно меняется — нежность и страсть... нежность... и печаль... и еще что-то... Из далей нездешних... И опять словно вопрос-ответ. Но спрашивает уже скрипка, настойчиво, отчаянно, а рояль отвечает. И как-то все тщетно, размыто... И снова мелодия полна печали и страсти... Недомолвок, огня, что сжигает дотла... А затем все три голоса сливаются и ведут мелодию вместе, расходятся, сходятся, виртуозно разыгрывают каждый свою вариацию — рояль, виолончель, скрипка... Чтобы в конце уже окончательно соединиться в одно целое. И, затихая в аккордах, умолкнуть... словно умереть вместе...

Шуберт...

Клавдий Мамонтов ощутил жар в сердце.

Гости аплодировали.

— Говорят, Франц Шуберт написал это трио перед смертью, — сказал Пушкин-младший. — И никакой тьмы. Но и света нет. Словно зимние сумерки. Закат.

Барон Корф усмехнулся, видно, подумал, что для офицера лейб-гвардии Конного полка собеседник выражается чересчур поэтично. Ну да батюшка был какой... Кровь — она всегда о себе заявит.

Гости окружили разругавшуюся Меланью — восторг, восхищение, триумф.

Ее крепостной куда-то пропал — словно его ветром сдуло. Аликс убрала скрипку в футляр.